

Лица Русал



Жабе не съестъ журавля

蛙は鶴を食べられない



Есть желания,
которые не по силам
даже тем,
кто осмел
прыгнуть выше

18+



Ли́ка Ру́сал

Жабе не съест журавля

«Автор»

2026

Русал Л.

Жабе не съест журавля / Л. Русал — «Автор», 2026

Она — последняя из клана Журавля. Её кровь — ключ к вратам между мирами. Он — демон, заточённый в придворном пруду. Его холод помнит всё. Аямэ спасли от резни, чтобы сделать наложницей наследного принца. Во дворце Аояма она — живой артефакт, сосуд для наследника и заложница. Единственное место, где Аямэ чувствует себя живой, — берег чёрного пруда, в котором, по словам служанок, живёт демон. Говорят, жабе не съест журавля. А если журавль сам спустится в воду? Азиатское фэнтези о долге, свободе и о любви, которой не место в этом мире.

© Русал Л., 2026

© Автор, 2026

Лица Русал

Жабе не съест журавля

Глава 1. Та, что помнит тишину.

Дворец Аояма строили триста лет назад, и каждый камень в его фундаменте был пропитан кровью. Не человеческой — другой. Древней. Той, что текла в жилах жрецов клана Журавля, когда их приносили в жертву, чтобы стены держались, а ворота между мирами не открывались. Кровь высохла давно, но запах остался. Тонкий, сладковатый, чуть солоноватый — его чувствовали только те, кто родился с магией. И те, кому суждено было умереть. Аямэ чувствовала его каждое утро — он просачивался сквозь бумажные стены, смешивался с запахом благовоний и старого дерева, напоминая ей, что она здесь не гостья, не наложница и даже не женщина. Она — заложница. И её кровь когда-нибудь прольётся на этот алтарь.

Аямэ просыпалась задолго до рассвета, когда за седзи было ещё темно, и лежала на циновке, глядя в потолок. В комнате пахло ладаном, который жгли перед сном, и чем-то ещё — далёким, слабым, похожим на запах речной воды после долгого дождя. Иногда ей казалось, что этот запах идёт от неё самой. Изнутри. Из того места, где когда-то жила магия. Теперь там плескалась лишь пустота, холодная и глубокая, как колодец, в котором она провела три дня, когда ей было семь лет.

Кохару спала за перегородкой. Аямэ слышала её ровное посапывание, иногда — бормотание во сне. Служанке снились рыбачьи лодки и осенний рынок в её родной деревне, где отец торговал рыбой, а мать пекла рисовые лепёшки с бобами. Аямэ завидовала. Ей самой ничего не снилось уже много лет — только чёрная вода, холод и чьи-то глаза на самом дне. Она не знала, чьи. Может быть, её собственные. Может быть, того, кто ждал.

Она села на постели, провела холодными пальцами по лицу. Осень в этом году пришла рано, обрушилась на столицу ливнями и ветрами, которые гоняли по саду опавшие листья, собирая их в кучи у стен. Садовники не успевали убирать — их забрали на укрепление печатей, и теперь во дворце не хватало слуг. Наложницы жаловались на пыль в углах и холодный чай. Но только не Аямэ. Она вообще почти не говорила — научилась молчать в храме, где прожила десять лет после резни, устроенной в стенах родного дома. Старый монах без языка, который взял её к себе, не умел говорить, и Аямэ быстро поняла: слова не нужны. Можно смотреть, слушать, запоминать. Можно жить без голоса. Так она и жила. Тихая, незаметная, как мышь, как тень, или призрак, который забыл, зачем пришёл в этот мир. Её не замечали — и это оставалось её единственной защитой.

Проснувшись Кохару вошла без стука — это являлось её привилегией, единственной во всём дворце. У неё было круглое, простодушное лицо, быстрые руки и вечно мокрые глаза. Она плакала легко — от жалости, от страха, от радости. Аямэ не понимала этого. Сама она научилась плакать, когда поняла, что слёзы не возвращают мёртвых.

— Госпожа, — Кохару опустилась на колени, поставила рядом деревянный таз с горячей водой. Пар поднимался к высокому потолку, и в его клубах Аямэ видела всё ту же чёрную воду из своих снов. — Сегодня холодно. Садовники говорят, что иней будет до полудня. Стражники меняют накидки на зимние, а на кухне шепчутся, что дров осталось только на две недели. Если не привезут новые, придётся жечь старые циновки.

— Осень, — безразлично отозвалась Аямэ, опуская лицо в воду. Пар обжёт щёки. — Что ещё говорят?

Кохару замаялась, перебирая гребни. Она делала вид, что занята, но Аямэ видела: служанка ждала этого вопроса. Кохару любила рассказывать новости — сплетни, слухи, дворцовые секреты, которые собирала на кухне, как грибы после дождя. Это оставалось единственным развлечением в её жизни. И единственная связь между Аямэ и миром за пределами комнаты.

— Говорят, госпожа, — начала служанка, понижая голос, — что наследный принц вернулся из поездки. Был очень зол. Кто-то из министров перечил ему на совете. Кричали, гово-

рят, так, что стражники за дверью слышали. А после совета принц заперся в своих покоях и никого не впускал.

— Принц всегда зол, — проронила Аямэ, вытирая лицо мягкой тканью. Она не спрашивала почему. Знала: Такахиро сердится на отца, который умирает слишком долго, на советников, плетущих интриги, на северные кланы, готовящие мятеж, на мир, требующий от него того, чего принц дать не может. И Аямэ не хотела знать новых причин

— Но сегодня особенно, — Кохару зашептала, оглядываясь на пустые стены, что также имели уши. — Говорят, принц искал вас, госпожа. Спрашивал, почему вы не выходите к обеду. Его слуга приходил дважды. Я сказала, что вы спите.

Аямэ не ответила. Она смотрела на свои руки — бледные, тонкие, с длинными пальцами. Когда-то, очень давно, мать говорила, что такие руки рождены для магии. Теперь они были просто руками наложницы, которая не может родить наследника. Такахиро говорил об этом каждую встречу — вежливо, сдержанно, но настойчиво. «Ты должна постараться, Аямэ. Империи нужен наследник. Моему роду нужен наследник. Ты понимаешь, что будет, если я умру без сына?» Она понимала. Война. Смута. И её собственная смерть — потому что без наследника печати некому будет защищать.

Кохару закончила перебирать гребни, выбрала один — из чёрного дерева, с вырезанными журавлями — и начала расчёсывать волосы Аямэ. Движения её неизменно оставались лёгкими, привычными, почти ласковыми. Гребень скользил по длинным чёрным прядям, распутывая узлы, и Аямэ закрыла глаза, позволяя себе минуту слабости. Эту минуту она давала себе каждое утро — время, когда была просто уставшей женщиной

— Вы бледная, госпожа, — посетовала служанка. — Вам нужно есть больше мяса.

— Я не голодна.

— Вы вообще никогда не голодны, — вздохнула Кохару. — Но я всё равно принесу. Вам нужно набраться сил. Господин наследный принц не любит худых женщин. В прошлый раз он высказал главному евнуху, что вы как ветка после листопада.

— Принц много говорит, — не открывая глаз отозвалась Аямэ. — Я не обязана слушать.

— Вы обязаны, госпожа, — Кохару вздрогнула и втянула шею в плечи, боясь столь неосмотрительных речей Аямэ. — Он — ваш господин. И он любит вас.

Аямэ хотела сказать, что Такахиро вовсе не любит её, что она для него — инструмент, печать, сосуд для наследника. Но не сказала. Кохару была слишком наивна, слишком добра, чтобы слышать такую правду. Пусть живёт в своём маленьком мире, где принц может полюбить девушку с улицы, а демоны остаются только в сказках.

После завтрака, когда солнце поднялось выше и залило комнату бледным, осенним светом — жёлтым, слабым, каким-то обречённым, — Аямэ подошла к сундуку в углу. Старый, тёмный, с потускневшими бронзовыми накладками, он стоял здесь ещё до неё. Может быть, его привезли из какой-то другой провинции, а может, он всегда был здесь, с момента закладки дворца. Аямэ не знала. Она знала только, что внутри, на самом дне, под слоем выцветшего шёлка, лежал бумажный журавлик.

Она открыла крышку. Запах старого дерева и сухих трав ударил в нос — лаванда, полынь, что-то ещё, что она не могла узнать, ведь никогда не интересовалась наполнением ароматических мешочков. Аямэ запустила руку внутрь, нащупала шёлк, отодвинула край. Журавлик лежал на самом дне — маленький, пожелтевший, с надорванным крылом.

— Тысяча журавликов, тысяча желаний, — шептала она. — Мама говорила, что если сложить тысячу, любое желание сбудется. Я сложила тысячу. А затем ещё две Почему оно не сбылось?

Журавлик не отвечал. Всего лишь мёртвая бумажка. Всё, что осталось от клана Журавля.

Род Цуру был старым. Настолько старым, что никто уже не помнил, когда он появился — в одних хрониках писали «от основания неба и земли», в других — «после великой войны с ёкаями», в-третьих просто ставили прочерк, потому что никто не хотел вспоминать те времена. Именно из него образовался клан Журавля. Жрецы и маги, хранители равновесия между миром людей и миром духов. Их кровь держала печати. Их молитвы закрывали врата. Их имена нельзя было произносить вслух — только шептать в храмах и вписывать в свитки, которые потом прятали в подземельях, куда никто не заходил.

Мир Аямэ рухнул в детстве.

Та ночь запомнилась отчётливо. Она проснулась от криков. Не детских — взрослых. Материнских. Аямэ села на постели, потёрла глаза и ничего не поняла. За стенами их дома, стоявшего на берегу озера, горело небо. Красное, как кровь, как закат, который никак не мог погаснуть. Дым полз по земле, и в этом дыму, как призраки, метались люди. Кто-то бежал к лесу, кто-то к озеру, кто-то просто стоял на месте, оцепенев от ужаса.

Не успела Аямэ накинуть накидку на голые плечи, как мать вбежала в комнату, схватила её за руку и потащила за собой. Они бежали по коридору — мимо кухни, где ещё вчера пахло рисом и жареной рыбой, мимо гостиной, где отец принимал важных чиновников, мимо алтаря, где горели лампы, освещая лица предков, чьи имена уже никто не помнил. Аямэ спотыкалась, падала, мать поднимала её, тащила дальше. Рука матери даже тогда оставалась тёплой, а вот дыхание — стало тяжёлым и прерывистым, непривычным.

— Не смотри, — шептала она маленькой Аямэ. — Закрой глаза и не смотри.

Но Аямэ смотрела. Она не могла не смотреть. А потому видела, как дядя Тэру, великий маг клана, выбегает навстречу воинам с поднятыми руками. В его ладонях горел белый свет — такой яркий, что Аямэ зажмурилась. А когда открыла глаза, дядя лежал на земле, а из его груди торчало копьё. Она видела, как бабушка, старая, сгорбленная, с седыми волосами, развевающимися на ветру, пытается закрыть собой вход в святилище. Воины отшвырнули её, как бамбуковую трость. Бабушка упала и не встала. Аямэ видела, как отец — высокий, сильный, с мечом в руке, который он не умел держать, потому что являлся жрецом, а не воином, — рубится сразу с троими. Он убил двоих, но третий зашёл со спины. Отец упал на колени, потом лицом в траву, покрытую каплями прошедшего дождя.

Мать закрыла ей глаза ладонью. Ладонь оказалась мокрой. Аямэ не знала — от слёз или от крови.

— Не смотри, — повторила мать. — Не смотри, дочка.

Они добежали до колодца — старого, каменного, заросшего мхом. Аямэ никогда раньше не замечала этого колодца. Он стоял в самом дальнем углу сада, скрытый ветвями старой ивы, которую посадила ещё её прабабка. Мать откинула крышку, заглянула внутрь. Вода была далеко, на дне, и пахло оттуда сыростью и чем-то жутким — не просто землёй и тиной, а чем-то, тошнотворным.

— Полезай, — велела мать.

— М-мама — Аямэ дрожала всем телом.

— Полезай, Аямэ. Быстро.

Она опустила дочь в колодец — держала за руки, пока ноги не нащупали скользкие камни. Аямэ повисла, вцепившись в материнские запястья, чувствуя, как её медленно отпускают.

— Я боюсь, — прошептала она.

— Знаю, — мать наклонилась, поцеловала её в лоб холодными от горя и страха губами.

— Но ты должна жить. Ты — последняя. Имя нашего клана — теперь только твоё.

Она сунула в руку Аямэ бумажного журавлика. Маленького, белого, сложенного из тонкой рисовой бумаги.

— Отдай это монаху из храма на горе. Он придёт и спрячет тебя.

— А ты?

Мать улыбнулась — той улыбкой, которую Аямэ запомнила на всю жизнь. Спокойной, почти счастливой, словно она уже видела что-то, чего Аямэ не могла разглядеть. Может быть, небо. Может, освобождение. А может, души тех, кого мечтала встретить на небесах после своей смерти.

— Я останусь здесь, — сказала мать. — Кому-то нужно задержать их.

Она отпустила руки. Аямэ упала в темноту. Вода ударила в спину, холодная, обжигающая, пахнувшая железом и смертью. Она закричала — но крик утонул в плеске. Аямэ барахталась, цеплялась за скользкие стены, пока не нащупала выступ. Там вода доходила до пояса.

А сверху, через узкое горло колодца, доносились крики, лязг металла, звуки борьбы. Мать, которая никогда не брала в руки оружия, дралась с воинами, чтобы выиграть время. Аямэ слышала её голос — громкий, злой. Она не знала, что её мать умеет так кричать.

Бой не длился долго. Аямэ молча глотала слёзы, слушая тишину у колодца и рёв потихоньку затухающего пламени чуть поодаль. Там, где раньше был её дом.

А когда и эти звуки стихли, Аямэ услышала шаги — тяжёлые, мужские. Кто-то подошёл к колодцу и заглянул внутрь. Аямэ вжалась в стенки, беззвучно молясь и глотая слёзы.

Молитвы оказались услышаны.

— Никого, — произнёс грубый голос. — Только вода. Пойдём, здесь никого нет.

Крышка закрылась. Стало темно. И тихо. Так тихо, что Аямэ испугалась, а не оглохла ли?

Три дня. Она просидела в колодце три дня — или ей показалось, что три дня. Время потеряло смысл. Она пила воду, которой было полно, ела мох со стен — горький, склизкий, похожий на застывший варабимоти. Аямэ не спала — боялась, что если заснёт, то не проснётся. И не плакала — слёзы кончились на второй день.

На третий день Аямэ вновь услышала шаги. Не военные, не тяжёлые — другие. Лёгкие, осторожные, шаги человека, который не хочет, чтобы его заметили. Крышка открылась. Свет ударил в глаза, ослепил. Аямэ с трудом вгляделась в силуэт. В проёме колодца стоял монах. Он выглядел старым, очень старым, с белой бородой, глубокими морщинами на лице и мутными глазами, которые вопреки этому, смотрели зорко. Такие бывают у человека, который привык видеть не только внешнее, но и внутреннее.

— Вы мне можете помочь? — спросила Аямэ.

Монах молча кивнул и протянул руку. Она вцепилась в его ладонь — костлявую, тёплую, живую — и позволила вытащить себя на свет. Солнце ударило в глаза с новой силой, и Аямэ зажмурилась, прижавшись лицом к груди монаха. Он пах рисовыми лепёшками, зелёным чаем и чем-то ещё — тишиной, что ли? Тем особым спокойствием, которое бывает только у людей, проживших долгую жизнь и переставших бояться смерти. Аямэ не знала, сколько он там простоял, дожидаясь, пока она наберётся смелости и последует за ним. Может быть, час. Может быть, весь день.

У монаха не оказалось языка. Кто-то вырезал его много лет назад за то, что он знал слишком много. Аямэ увидела это сразу, когда он открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог. Только хрип вырвался из горла — сухой, жалобный, как скулёж старой собаки. Он объяснялся жестами, писал на песке и иногда — если очень нужно — чертил иероглифы в воздухе пальцем. Аямэ научилась понимать монаха за месяц. Она вообще быстро училась — выживание требовало этого.

Она жила в храме на вершине горы — крошечной келье за алтарём, где пахло благовониями и старой бумагой. Келья была маленькой, тесной, с одним окном, выходившим на восток. По утрам солнце вставало прямо напротив, и его лучи падали на алтарь, зажигая золотом статую Будды — древнюю, потрескавшуюся, с отбитым пальцем на левой руке. Монах молился по ночам, и его молитвы оставались безмолвными — только губы шевелились, да руки складывались в знаки. А днём он учил её читать, писать, считать. И запоминать. Всё: имена богов,

ритуалы предков, старые песни, которые никто уже не пел, легенды о мире ёкаев, который был когда-то един с миром людей, о битвах, которые длились тысячу лет, о героях, чьи имена вырезаны на каменных стелах, покрытых мхом.

— Зачем мне это? — спросила Аямэ однажды, когда ей минуло десять лет. Она сидела на полу, скрестив ноги, перед ней лежал свиток, который она пыталась разобрать уже третий час. Солнце садилось, и в комнате становилось темно.

Монах написал на песке: «Ты — Журавль. Род Цуру помнит то, что другие забывают».

— Что я должна помнить? — для ребёнка, пережившего слишком многое, Аямэ оставалась удивительно рассудительной. И всегда тянулась к новым знаниям.

Монах подхватил палочку и написал на песчаном полу одно слово: «Имя».

— Какое имя?

Он покачал головой, стёр песок ладонью и написал снова: «Когда придёт время — вспомнишь».

Он никогда не объяснял большего. Только давал ей знания — иероглифы, тексты, молитвы, карты звёздного неба, названия трав, которые растут только на севере. А Аянэ запоминала. Не потому, что хотела. Потому что больше нечем было занять ум. Нечем было заполнить пустоту, которая образовалась внутри после смерти матери. Тишина храма напоминала вечное погребение в Дзигоку, и единственным спасением от неё была работа.

Десять лет в храме. Десять лет тишины, молитв, старых свитков, которые крошились в пальцах. Десять лет, за которые она почти забыла, что когда-то у неё была семья, дом, мать, которая целовала перед сном. Иногда, по ночам, когда монах спал, Аямэ выходила на крыльцо, смотрела на звёзды и пыталась вспомнить, как выглядела её мать. Лицо расплывалось. Голос забывался. Только улыбка — спокойная, почти счастливая — осталась в памяти, как заноза под ногтем, которая ноет, стоит лишь надавить пальцем.

Монах умер, когда ей Аямэ минуло семнадцать. Утром Аямэ пришла будить его к заутрене, а он сидел на циновке, прислонившись к стене, с закрытыми глазами. Его лицо оставалось спокойным, как у человека, который наконец-то закончил долгую работу. В руке он сжимал свиток — старый, пожелтевший, с иероглифами, которые Аямэ не умела читать. Слишком древний язык. Слишком сложные знаки. Она попыталась вытащить свиток из зачочневших пальцев — осторожно, чтобы не повредить бумагу, — но они не разжимались. Аямэ оставила свиток у монаха в руке. Пусть уходит с ним, раз так хотел.

Она похоронила его за алтарём, рядом с безымянными могилами тех, кто жил здесь до них. Могил было три — старых, заросших травой, без имён, без дат. Кто они были — предшественники монаха? Другие жрецы, которые прятались здесь от тайных песцов или слуг сёгуна? Аямэ не знала. Монах не рассказывал. Он вообще почти не рассказывал о прошлом — своём или чужом. Аямэ даже не знала его имени.

Она собрала вещи — котомку с рисом, гребень, смену кимоно и бумажного журавлика — и пошла вниз, в долину. Дорога заняла четыре дня. Она шла через лес, через горные тропы, через реки, которые ещё не замёрзли. Иногда Аямэ останавливалась, чтобы набрать воды или съесть горсть риса. И ничего не боялась, ведь давно всё потеряла — именно так она и думала раньше.

Мир встретил её шумом.

В столицу Аямэ попала случайно — или не случайно, она не знала. Ей нужна была работа, еда, крыша над головой. Она нашла место на кухне одного из министров — мыла посуду, чистила рыбу, носила воду. Платили медью, но хватало на хлеб и ночлег в общей комнате для слуг. Спала на тюфяке, набитом соломой, вместе с другими женщинами — старыми, молодыми, битыми жизнью. Они храпели, ругались во сне, иногда плакали. Аямэ спала редко, в основном лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок — тёмный, закопчённый, с балками, в которых скрипели жуки.

В ту зиму она заболела. Простуда перешла в воспаление лёгких, и её выгнали на улицу. «Нечего здесь болеть, — выплюнула старшая служанка, даже не взглянув на неё. — Заразу разводите». И через час Аямэ сидела у ворот министерского дома, кашляя кровью, и ждала смерти. Честно ждала. Ей казалось, что умереть в восемнадцать — не так страшно. Главное — тихо. Без криков. Без крови. Без колодца.

Её нашёл Такахиро из рода Фудзивара. Молодой наследный принц, объезжал столицу в сопровождении свиты. Но увидев девушку, лежащую в снегу, велел остановиться.

— Кто это? — спросил он советника.

— Никто, ваше высочество, — ответил тот плохо скрывая брезгливость. — Нищая. Умрёт к утру. Не стоит обращать внимания, мой господин.

Такахиро отчего-то медлил. Аямэ подняла голову — тогда она не знала, кто перед ней, только видела тёмное кимоно, дорогую ткань и бледное лицо с острыми скулами. Она хотела попросить — о чём? О помощи? О смерти? Аямэ не знала. Вместо слов из горла вырывался хрип.

Он узнал её. Не потому, что видел раньше. Потому что на шее, у самого ворота порванного, старого кимоно, темнело родимое пятно в форме журавлиного крыла. Знак истреблённого рода. Тот, который императорские соглядатаи искали пятнадцать лет. Глаза Такахиро — тёмные, глубокие — расширились в удивлении.

— Заберите её, — приказал он. — Показать лекарям, отмыть и сопроводить в мои покои.

Советник побледнел, хотел возразить, но принц остался непреклонен. Следующие несколько дней Аямэ отпаивали отварами, ставили горчичники, поили горькими настоями. Служанки отмыли её в горячей воде, одели в чистое. Аямэ не понимала, что происходит — она спала на шёлковых простынях, ела с фарфоровых тарелок и всё боялась, что это сон. Каждое утро просыпалась и ждала, когда её выгонят. Но этого не происходило.

Через неделю Такахиро позвал её в свой кабинет. Он сидел за столом, заваленным свитками, и смотрел на вошедшую так, будто искал подвох. В комнате пахло чернилами и властью. Аямэ чувствовала этот запах с порога, и он показался ей тяжёлым, как мокрая ткань.

— Ты из клана Журавля, — утвердительно произнёс Такахиро. — Род Цуру.

— Откуда вы знаете? — спросила Аямэ хриплым, ослабевшим после болезни голосом.

— Родимое пятно. Я видел такие в старых хрониках. У вас, Журавлей, оно передаётся по наследству. От матери к дочери. Своеобразный знак крови.

— Вы убьёте меня? — Аямэ подняла на наследного принца свои тёмные глаза в обрамлении густых ресниц. И на мгновение он забыл, что собирался быть суровым.

— Если бы я хотел убить, я бы не лечил тебя и не кормил, — он покачал головой. — Ты нужна мне живой. Твоя кровь держит печати. Если ты умрёшь — мир рухнет.

Аямэ ничего не понимала. Наследный принц говорил о важности её рода, но разве не люди императора перебили всех его представителей? Тогда она не решилась задать этого вопроса. Побоялась поменять относительное спокойствие на острый клинок или изгнание.

— Что вы хотите от меня? — осторожно спросила она.

— Ты станешь моей наложницей, — отрезал Такахиро. — Я дам тебе кров, еду и свою защиту. Ты будешь жить во дворце, у тебя будет своя комната и служанка. А взамен — ты никуда не уйдёшь. Никогда.

— Зачем вам это, ваше высочество?

Аямэ заметила острый блеск в глазах наследного принца. Сжалась, но не пожалела о вольности. Жизнь в далеко от правил общества оставила свой отпечаток. Старый монах никогда не ругал Аямэ за неуёмное любопытство. Однако во дворце оно могло стать причиной гибели.

— Я не хочу, чтобы рушился мир. Мне в нём ещё править. Об остальном — тебе не стоит и думать.

В глазах Такахиро не было злобы или лжи. Такая же, как у самой Аямэ. Ей казалось, что она видит ещё что-то — может быть, сострадание. Может быть, вину

— Я согласна, — Аямэ кивнула, хоть её согласия никто и не спрашивал, а после поспешно склонилась. Неумело, не так, как следовало бы.

Прошло два года. Жизнь полилась подобно горному ручью — чище, нежели канава в трущобах, но настолько холодная, что сводило зубы. Наложница наследного принца — младшая, тихая и незаметная. Как и обещал Такахиро, у Аямэ появилась своя комната, служанка Кохару, шкафы с кимоно и шкатулки с украшениями. Наложницы завидовали, не зная, что она — не соперница, а заложница. Её жизнь висела на волоске. Каждый день мог стать последним. Каждый визит Такахиро — приговором.

Наследный принц навещал её раз в неделю. Пил чай, спрашивал о здоровье, иногда читал вслух стихи — старые, про журавлей и осеннюю луну. Оставался неизменно вежлив, но далёк. Аямэ знала: он боится её. Не её саму, а то, что может сделать кровь её рода. Она знала имя. То самое, которое клан хранил веками. То, которое могло разбудить существо под дворцом. Или закрыть врата навсегда.

Сама Аямэ не помнила его. Монах не успел научить читать древний язык. Свиток, который он сжимал в руке перед смертью, так и остался неоткрытым. Но Аямэ знала, что имя — внутри неё. В крови. В костях. В бумажном журавлике, который лежал на дне сундука. Оно ждало

Иногда, по ночам, когда Кохару засыпала, Аямэ подходила к окну и смотрела на сад. Больше всего привлекал внимания пруд — гладкий, как намокшая рисовая бумага. Ей казалось, что на дне кто-то есть — не рыба, не лягушка. Может быть, очередная тайна дворца?

Аямэ не знала, почему ей так казалось. Может быть, от одиночества. Может быть, потому что во дворце начали пропадать девушки.

Младшая служанка Юки была третьей за этот год.

Её нашли в пруду на рассвете. Лицо спокойное, почти счастливое. Во рту — чёрные перья. Служанки шептались о ёкаях. Стражники говорили — несчастный случай. «Упала, ударилась головой, захлебнулась». Но Аямэ видела её лицо — и не верила. На лицах утопленников не бывает счастливых улыбок.

А на губах Аямэ и вовсе не мелькало никаких.

До одного вечера

Глоссарий:

Варабимоти — это блюдо японской кухни, студенистая сладость, приготовленная из папоротниковой муки (

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.